

О МАТЕРИ

Мне было три года, когда я вдруг ощутила доселе неизвестное: откуда-то из воздуха магаданского детдома возникло и ступило — то ли запахом, то ли на ощупь, а может быть, я сразу увидела — и мгновенно поняла: мама! Надо мной наклонилась мама! Я это знала всеми своими чувствами и запомнила на всю жизнь. И где бы я с тех пор ни находилась, иногда и теперь рядом со мною что-то такое сгущается, и все мои чувства собираются в комок и явственно говорят мне о ее присутствии в моей жизни.

О том, что я приемыш, мама сказала мне лишь через пятнадцать лет, опасаясь, что мне станет известно об этом от кого-нибудь из читателей «Крутого маршрута», уже опубликованного к этому времени на Западе и быстро распространявшегося в самиздате. Мне книгу долго не показывали, очевидно опасаясь новых репрессий, которые в случае моей осведомленности могли бы коснуться и меня. А удочерение происходило в страшном для мамы 1949 году, когда ей грозил новый срок.

Мама печалилась о том, что книгу опубликовали без ее ведома, — не потому что боялась мести властей, а оттого, что в рукописи все упомянутые лица названы подлинными именами. Она вздыхала: «Вот эта девчушка, которая в Казани смотрела на меня влюбленными глазами, — что будет, если она узнает, что это по доносу ее отца меня...» — и она сокрушенно качала головой.

Помню еще, как огорчалась мама, когда А. Твардовский во время поездки в Италию, полагая, будто может защитить возникшую в советской литературе лагерную тему, начатую Солженицыным, сказал, что «Новый мир» не собирается печатать книгу Евгении Гинзбург, потому что это «переперченное блюдо» (там были произнесены и еще какие-то малоприятные выражения).

«Он вернулся, — рассказывала мама, — заперся у себя на даче и который уже день по-черному пьет, бедняга!» Ни слова упрека, только жалость.

Не дело детей говорить о книгах своих родителей, я и не ставлю перед собой такую задачу. Есть масса отзывов — как солагерников, так и собратьев по ремеслу, литературоведов, друзей, противников, недоброжелателей, просто читателей. Ни спорить с кем-либо, ни отстаивать какую-либо позицию я не собираюсь, да и права не имею. Но мне и о ней самой, о Евгении Семеновне Гинзбург, очень трудно говорить. Могут подумать, что мне мешает благодарность приемной дочери. Нисколько! Я жила в семье и не знала, что эта семья мне подарена, и была уверена, что в этой семье родилась. Как в любой семье, здесь бывало всякое. Боюсь, я доставила маме больше огорчений, чем радостей. Но вот какая странность: об Антоне Вальгере, моем приемном отце, я, кажется, могла бы написать подробно, вникая во все детали. О Евгении Гинзбург — нет! Почему? Не знаю, не спрашивайте.

Я могу сказать только то, что и так вычитывается из ее книги, что запечатлено некоторыми мемуаристами. Она была очень ярким человеком. Красавица, умница, с обостренным чувством юмора. Колоссальная эрудиция и огромная трудоспособность. Блестящая речь и женский магнетизм (не утраченный до самых последних дней ее жизни). Стихи она могла читать наизусть часами. Кстати, она и человека могла оценивать по тому признаку, как он относится к определенным стихотворениям. Помню, как однажды была шокирована одна либеральная компания, когда она стала защищать литератора, служившего предметом постоянных нападок прогрессистов.

— Что вы, — горячо вступилась она, — мы с ним долго говорили о Владимире Соловьеве. Он помнит наизусть мое любимое:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

И она увлеклась и дочитывала стихи до конца:

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

Я заметила, что эти стихи были вообще тестом, который она время от времени устраивала различным людям, особенно полужнакомым (вокруг нее всегда было множество народу, в том числе и ненадежного). С ее точки зрения, это был трудный экзамен. Вообще же, несмотря на весь ее суровый опыт, она была чрезвычайно открыта, доверчива и, я бы сказала, наивна.

Странно было бы, если б на этих страницах, ломясь в открытую дверь, я стала бы рассказывать о невероятно большой роли, которую сыграла книга Евгении Гинзбург или ее личность в моей собственной жизни. Но мне все же было чрезвычайно интересно узнать о том влиянии, которое было оказано книгой и ее автором на людей моего поколения, то есть на шестидесятников — людей, заставших краешек сталинской эры и перешедших в постбрежневскую, а теперь уже и в постъельцинскую эпоху.

Я спросила об этом одного из тех, кого мама в 60-е годы называла своими молодыми друзьями (вокруг нее всегда было много молодежи). Вот что он мне написал в письме, разрешив цитировать его без указания имени: «Впервые я увидел Евгению Семеновну в доме моих родителей, когда мне исполнилось лет 17–18. К этому времени у нее уже были закончены какие-то главы ее книги, и в тот же вечер отец разрешил мне почитать рукопись, названную „Седьмой вагон“.

Я читал и вспоминал лицо и интонации женщины, которую я только что видел, и соотносил ее образ с написанным. Я не мог даже догадываться о существовании ада, описанного в рукописи, — я читал такое впервые, но вот эта женщина с искрящимися юмором глазами этот ад пережила. И я отчетливо помню, что эмоциональная буря, вызванная во мне рукописью, была спровоцирована не в последнюю очередь эстетическими достоинствами повествования, а не только ее гуманитарной направленностью.

Евгения Семеновна рассказывала (об этом есть и в книге, но я ясно помню ее устные выразительные средства), что она может по глазам определить бывшего лагерника и часто огорошивает незнакомого человека вопросом о том, где тот отбывал срок, — и ни разу не ошиблась! Я пытался понять, что выдает узника лагерей, и подолгу вглядывался в ее глаза — они были удивительные! Во-первых, они всегда светились. Во-вторых, в них всегда была готовность к остроте — своей или чужой. В-третьих, в них всегда была

печаль — неизбывная и... таинственная, потому что поверх этой тоски всегда прыгали искорки, если не сказать: чертики.

Мне показалось, что я понял, как выглядит лагерный отпечаток в зрачках, и однажды, когда уже студентом МГУ я был на приеме у зубного врача, мне показалось, что я опознал в дантистке лагерницу. Мне был назначен новый прием на следующий день, и я отправился на него с огромным букетом цветов. В назначенный час кабинет был закрыт, и я стоял перед запертой дверью, когда наконец появилась сестра и сказала, что сегодня приема не будет: Анна Михайловна плохо себя почувствовала. „Вот, передайте“, — сказал я, протягивая букет. Так и не пришлось мне проверить, точно ли я определил лагерника, но что дантистка была обаятельна, несмотря на бормашину в руке, я сумел догадаться, соотнося ее облик с образом Евгении Семеновны.

Ты знаешь, Тоня, я всегда помнил о Евгении Семеновне, то есть не просто хранил память о ней, а как бы все сопоставлял с нею, она дала мне в жизни масштаб, по сравнению с которым то, что могло считаться крупными неприятностями — доносы, подозрительность спецслужб и т. п., — становилось мелкими неурядицами.

Я обсуждал вопрос о степени воздействия „Крутого маршрута“ со своими друзьями, которые не были, как я, знакомы с автором. Они тем не менее, как и я, склонны видеть в ней свою воспитательницу. Переход из брежневского времени в наши дни подготовлен и облегчен людям „Крутым маршрутом“. Как бы величествен (и пафосен!) ни был подвиг противостояния коммунистической системе, затеянный Солженицыным, он никогда не отодвинет светлого и доброжелательного взгляда, мерцающего со страниц книги Евгении Гинзбург. Доброта в искрящихся женских глазах может быть могущественнее мрачной мужской раздражительной силы. (Да простит меня Евгения Семеновна, она всегда сердилась, если кто пытался сравнивать ее с Солженицыным. „Не путайте Божий дар с яичницей“, — говорила она. Ей-богу, не путаю, Евгения Семеновна, теперь это уже вполне очевидно.) Евгения Семеновна навсегда научила меня, ты, Тоня, наверно, тоже затвердила эти слова: „Лишь одно на целом свете — только то, что сердце к сердцу говорит в живом привете“.

Тоня, я не пишу мемуары, не хочу, а в случае с твоей мамой, может быть, и права не имею. Я нередко бывал в ее московском доме, я помню мнемонический прием, с помощью которого она совето-

О МАТЕРИ

вала пользоваться ее телефонным номером (не забыл до сих пор: АД-1-37-18). „АД один — это нетрудно; 37 — это год, когда меня посадили; 18 — столько лет я просидела“. Но мои воспоминания — во-первых, мелочи, которые уже есть в многочисленных мемуарах, а во-вторых, почти всегда и неизбежно героем повествования становится сам мемуарист. Дальнейшее — молчание».

Вот такое письмо от человека, с которым я почти чудом встрети-
лась, не видев его более сорока лет.

Спасибо, мама!

2007 г.

Антонина АКСЕНОВА

*И я обращаюсь
к правительству нашему с просьбой:
удвоить,
утроить у этой плиты караул.*

ЕВТУШЕНКО

Все это кончилось. Мне и тысячам таких, как я, выпало счастье дожить до Двадцатого и Двадцать второго съездов партии.

В 1937-м, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас — больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных ТАМ.

Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления.

Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез? Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем.

Что же будет дальше? Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого возмездия?

Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни, человеческой природы, которые открылись передо мной, нередко помогал отвлекаться от собственных страданий.

Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.

Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку будет двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей.

Как хорошо, что я ошиблась! В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет.

И вот они — воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.

ЧАСТЬ I



Глава первая

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ

Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с 1 декабря 1934-го.

В четыре часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж — Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание спящих детей.

— Прибыть к шести утра в обком. Комната 38.

Это приказывали мне, члену партии.

— Война?

Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе.

Не разбудив никого, я выбежала из дому еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы.

Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но, чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что, если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете, умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнения в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина (инстинктивно, что ли!) не могла боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство настороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой.

В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов. Все знакомые люди, товарищи по работе. Потрясенные среди ночи, все казались бледными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепу.

— Что случилось?

— Как? Не знаете? Убит Киров...

Лепа, немного флегматичный латыш, всегда бесстрашный и непроницаемый, член партии с 1913 года, был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном сообщении. Нас вызвали всего только затем, чтобы расослать по предприятиям. Мы должны были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих.

Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, заводском районе Казани. Стоя на мешках с хлопком, прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепы, а мысли в тревожной сумятице рвались далеко.

Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной оказался Евстафьев, директор Института марксизма. Это был простой, хороший человек, старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, при встречах всегда с интересом беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня все оборвалось внутри предчувствием страшной беды, сказал:

— А ведь убийца-то — коммунист...

Глава вторая РЫЖИЙ ПРОФЕССОР

Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве Кирова бросали в дрожь, но еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсомольцы? Николаев? Румянцев? Каталынов? Это было фантастично, невероятно, но об этом было напечатано в «Правде» — значит сомнений быть не могло.

Но вот процесс начал расширяться концентрическими кругами, как на водной глади, в которую упал камень.

В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтомной «Историей ВКП(б)» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 годе, написанной Эльвовым для этой книги, были обнаружены теоретиче-

ские ошибки по вопросу о теории перманентной революции. Вся книга, в частности статья Эльвова, была осуждена Сталиным в его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма ошибки получили более четкую квалификацию: «троцкистская контрабанда».

Но в те времена, до выстрела в Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро. И Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором Педагогического института, был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собраниях интеллигенции, на партактивах. Даже доклад на городском активе, посвященном убийству Кирова, делал Эльвов.

Это был человек, бросающийся в глаза. Красно-рыжая курчавая шевелюра, очень крупная голова, посаженная прямо на плечи. Шей у Николая Эльвова почти не было, и поэтому его высокая коренастая фигура производила одновременно впечатление и силы, и какой-то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Не мог он остаться незамеченным и по своим душевным проявлениям. Его доклады, блестящие и иногда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, которые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей, — все это делало его одиозной фигурой в городе. Было ему в 1935 году 33 года.

...И вот он сидит передо мной в этот морозный солнечный февральский день 1935 года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле, в углу. Не раскинув длинные ноги в элегантных ботинках, а поджав их под стул. И лицо у него не розово-белое, как у всех рыжих, как бывало у него всегда, а темно-серое. И на руках он держит моего двухлетнего Ваську, забежавшего в комнату. И говорит синими трясущимися губами:

— У меня ведь тоже есть... Сережка... Четыре года. Хороший парень...

Потом я много видела таких глаз, какие были в тот день у рыжего профессора. Я не знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя и где-то, на самом дне, полубезумный проблеск надежды. Наверно, у меня самой были потом такие же. Но у себя самой я их почти не видела по той простой причине, что мне не приходилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале.

— Что с вами, Николай Наумыч?

— Все. Все кончено. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не думали... Ведь это все неправда. Клянусь — я ничего не сделал против партии.

Стыдно вспомнить, как я начала его «утешать» плоскими обывательскими фразами. Дескать, он все преувеличивает... Ну, может быть, по остроте положения выговор задним числом объявят за ту ошибочную статью... и т. д...

Потом он сказал совсем странные слова:

— Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной... Я не хотел этого...

Тут я посмотрела на него с явным опасением. Не сошел ли с ума? Я могу пострадать за связь с ним? Какая связь? Что за чушь?

Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется с осени 1932 года. Я работала тогда в пединституте. Он появился как зав. кафедрой русской истории. Квартиру ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и стал для этого собирать на своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в подготовке хрестоматии по истории Татарии.

Еще раз мне пришлось работать вместе с Эльвовым в редакции областной газеты «Красная Татария». После крупного конфликта между новым редактором Красным и прежними сотрудниками этой газеты обком решил освежить аппарат редакции и направил туда «на укрепление» несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отделом культуры, Эльвова — зав. отделом международной информации.

— С каких это пор совместная работа в советском вузе и в партийной прессе стала называться «связью», да еще такой, от которой можно «пострадать»?

Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив свойственное ему позерство и самолюбование, он обрел дар понимания людей. Потому что он правильно увидел за моими словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим младенцем. Он уловил это.

— Вы не понимаете момента. Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.

В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто. Мой старший сын Алеша, тогда девятилетний, встал в дверях,

внимательно и серьезно глядя на «рыжего». Потом помог ему надеть пальто. А когда дверь за Эльвовым захлопнулась, Алеша сказал:

— Мамочка, это, вообще-то, не очень симпатичный человек. Но сейчас у него большое горе. И его сейчас жалко, правда?

На другое утро у меня была лекция в пединституте. Старый швейцар, знавший меня со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле:

— Профессора-то нашего... рыжего-то... Увели сегодня ночью... Арестовали...

Глава третья ПРЕЛЮДИЯ

Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года.

Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной Татарии» состоялось партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я НЕ делала.

Оказывается, я НЕ разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я НЕ выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедший под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу XIX века, при этом совершенно не критиковалась.) Я ни разу НЕ выступала против него на собраниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.

— Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парторганизации не выступал против него...

— Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!

— Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.

— Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание.

— А разве уже доказано, что он троцкист?

Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного негодования.

— Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последующих 20 с лишним лет, до самого XX съезда партии, или, по крайней мере, до сентябрьского Пленума 1953 года.

...В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось побыть одной, обдумать дальнейшее поведение. Как держаться, чтобы не уронить своего партийного и человеческого достоинства? Щеки мои пылали. Минутами казалось, что схожу с ума от боли незаслуженных обвинений.

Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную неудачу, она была привязана ко мне.

— Вы неправильно ведете себя, Е. С. Признавайте себя виновной. Кайтесь.

— Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию?

— Все равно вам сейчас вынесут выговор. Политический выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. Лишнее осложнение.

— Не буду я лицемерить. Объявят выговор — буду бороться за его отмену.

Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщинок глазами и сказала те самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов.

— Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно.

Наверно, сейчас, попав в такое положение, я «покаялась» бы. Скорее всего. Ведь «я и сам теперь не тот, что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой». А тогда я была именно такая: неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять участие в начавшейся кампании «раскаяться» и «признаний ошибок».

Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на то что отпущения грехов давались очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления признавались

«недостаточными»), все же поток «раскаяний» ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории перманентной революции и в воздержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году. В «отрыжке» великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана. В знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольда.

Бия себя кулаками в грудь, «виновные» вопили о том, что они «проявили политическую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнительными элементами», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм».

И еще много-много таких формул звучало под сводами общественных помещений. Печать тоже наводнилась раскаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил перьями многих «теоретиков». С каждым днем возрастали роль и значение органов НКВД.

Редакционное партсобрание вынесло мне выговор «за притупление политической бдительности». Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Красного. Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь, в которой я фигурировала как «потенциальная единомышленница Эльвова».

Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое, а его жена была личным секретарем Смильги и принимала участие в известных «проводах Смильги» в Москве при отъезде Смильги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган проявлял страшное рвение в «разоблачении» других коммунистов, в том числе и таких политически неопытных людей, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому времени в Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидания ареста.

Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии оказался таким же «непонятливым», как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на бюро райкома, он удивился:

— За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все. Ему доверяли обком и горком. Или за то, что по одной улице с ним ходила?

И выговор отменили, оставив (по настоянию других членов бюро, лучше секретаря разобравшихся в том, что требовалось от них «на данном этапе») — поставить на вид «недостаточную бдительность».

Глава четвертая СНЕЖНЫЙ КОМ

В семи километрах от города, на живописном берегу Казанки, расположилась обкомовская дача «Ливадия». Построил ее предшественник Лепы, бывший секретарь обкома Михаил Разумов. Коротконогий толстяк с пронзительными голубыми глазами и профилем Людовика XVI, член партии с 1912 года, он был связан близкой дружбой с моим мужем — Аксеновым. Поэтому мы знали этого «первого бригадира Татарстана» (такая формула подхалимства была в то время в ходу) очень хорошо.

Это был человек, полный противоречивых качеств. При несомненной преданности партии, при больших организаторских данных он был очень склонен к «культу» собственной личности. Я познакомилась с ним в 1929 году, и он овельможивался буквально на моих глазах. Еще в 1930 году он занимал всего одну комнату в квартире Аксеновых, а проголодавшись, резал перочинным ножичком на бумажке колбасу. В 1931 году он построил «Ливадию» и в ней для себя отдельный коттедж. А в 1933-м, когда за успехи в колхозном строительстве Татария была награждена орденом Ленина, портреты Разумова уже носили с песнопениями по городу, а на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художниками из самых различных злаков — от овса до чечевицы.

Мы, близкие личные приятели Разумова, еще задолго до того, как аналогичная ситуация была описана Ильфом и Петровым, поддразнивали своего секретаря:

— Михаил Осипович, вам ночью воробьи глаза выклевали. Посмотрите, на Черном озере!

Летом в «Ливадию» отдыхали члены бюро обкома с семьями. Круглый год приезжали по выходным.

В один из весенних дней 1935 года мы приехали тоже всей семьей на день отдыха. За одним из столиков я заметила новое лицо.

— Это что еще за рыжий Мотеле? — шепотом спросила я мужа.

— Не рыжий, а черный, и не Мотеле, а товарищ Бейлин, новый председатель партколлегии КПК.

Думала ли я тогда, что за внешним обликом добродушного местечкового портного скрывается мой первый инквизитор?

Нас познакомили. Что-то блеснуло в его глазах при упоминании моей фамилии, но он тут же погасил этот взгляд, устремив его на тарелку со знаменитыми ливадийскими пирожками. Оказалось, что мое «дело» уже лежало на его служебном столе.

Через несколько дней после этой первой встречи я уже сидела перед жгучими садистско-фанатическими очами товарища Бейлина в его кабинете, и он со всей талмудистской изоэщренностью уточнял и оттачивал формулировки в отношении моих «преступлений». Снежный ком покатился под гору, катастрофически разбухая и грозя задушить меня.

У товарища Бейлина был тихий голос. Он называл меня по партийному на «ты».

— Ты разве не читала статью товарища Сталина? Ведь ты высококвалифицированная и не могла не понять ее.

— Ты разве не знала, что по вопросам перманентной революции Эльвов имел ошибки?

— Ты не признала на партийном собрании своей вины. Значит, ты не хочешь разоружиться перед партией?

Я не понимала, что значит «разоружиться», и пыталась убедить Бейлина, что я никогда против партии не вооружалась.

Он мягко прикрывал полукруглыми веками свои горячие глаза и тихим голосом начинал все сначала:

— Тот, кто не хочет разоружиться перед партией, объективно скатывается на позиции ее врагов...

Я снова делала отчаянные попытки удержаться на поверхности, напоминая моему строгому духовнику, что ведь, в сущности, я ничего плохого не сделала, кроме того, что была знакома по работе с Эльвовым, как и все работники нашего вуза.

— Ты опять не понимаешь, что примиренчество к враждебным партии элементам объективно ведет к скатыванию...

Не слушая моих возражений, он катил ком вперед, проталкивая его по определенному, продуманному, мне еще не вполне понятному плану.

Скоро наши ежедневные беседы перестали быть уединенными. Приехал товарищ из Москвы, фамилии которого я не помню, но которого я мысленно всегда называла Малютой Скуратовым. Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время его двойник по садистской изоэщренности.

Гинзбург Е.

Г 49 Крутой маршрут : Хроника времен кульга личности : роман / Евгения Гинзбург. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 704 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-22196-3

Евгения Гинзбург, историк и журналист, мать знаменитого писателя Василия Аксенова, была репрессирована в 1937 году, провела десять лет в тюрьмах и колымских лагерях и восемь лет в магаданской ссылке, а в 1955 году ее дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Но даже во времена оттепели автобиографический роман «Крутой маршрут», в котором Гинзбург рассказала о своей страшной судьбе, не мог выйти в СССР: он был издан только в годы перестройки, став одним из самых известных свидетельств о преступлениях сталинского режима — причем Гинзбург, которая до ареста была верным приверженцем коммунистического учения, не снимает и с себя вину за происходившее. Умение сдержанно, но психологически точно передать ощущения «безумия и ужаса», надежд и полного отчаяния, правдиво показать сцены жестокости и самопожертвования, проявлений трусости и храбрости — все это позволяет назвать «Крутой маршрут» выдающимся литературным произведением. Главная же ценность романа в том, что он учит сохранять мужество и достоинство, помогает избавиться от «великого Страх», который способен разрушать и судьбы, и жизни целого поколения.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ЕВГЕНИЯ СОЛОМОНОВНА ГИНЗБУРГ

КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности

Ответственный редактор Алла Степанова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Юлия Теплова, Анна Быстрова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 07.03.2023. Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 43,12. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



A-ARL-31158-01-R